

## Кяхта

### *Из истории Русской Америки*

Отгуляв свадьбу и коротая лютую зиму за учётом своего торгового имущества, собрался Григорий Иванович на ярмарку в Кяхту, как только минули крещенские морозы и в феврале заиграло совсем по-весеннему в этих широтах солнце.

Засобирался на ярмарку Григорий Иванович с охотою матёрого дельца, этакого засидевшегося зяядлого рыбака-удильщика, который без торговых сделок, как рыбак без поклёвок, начинает закипать. Долгие уже годы жил и дышал Григорий Иванович атмосферой, в которой сходятся крепкие характеры торговых людей и рождается навар от продажи, вечно ускользающий барыш,— прибыль, от которой порой ломаются склады, пухнут счета в банке и растут уважение и страх в глазах конкурентов.

Засобирался также, дабы просто продать залежавшийся, но ещё не потерявший в цене свой товар— меховую рухлядь— да прикупить на вырученные деньги столь нужные на промыслах ткань, продукты и специи, а ещё запастись чаем, что стоил на Кяхтинском рынке сущие копейки в сравнении с ценами в Санкт-Петербурге и Москве.

Кяхтинский рынок сформировался как ветка-отросток Великого Шёлкового пути из Китая в Европу, и здесь можно было приобрести всё, чем славился Китай. Особо ценились, кроме чая, ткани, шелка, фарфор, различная посуда и хозяйственная утварь.

Интерес был и чисто житейский у Шелихова: знакомцев повидать, пообщаться, узнать, почём ныне лихо купеческое да доля торговая, что на рынке пользуется спросом, найти новых компаньонов для дела и просто отдохнуть душой,— поиграть в картишки, потрапезничать в честной компании, посетить знатные дома.

Засиживаясь допоздна, в один из таких вечеров пригласил Шелихов к себе зятя да заговорил с ним о поездке на ярмарку.

Николай, который по приезде в Иркутск и особенно после женитьбы округлился и сиял теперь лицом, как начищенный речным песком самовар, спешно пришёл с нетерпением, ожидая

делового разговора,— так уж он утомился, пропадая в безделке, проводя время в основном в обществе жёнушки своей юной Анны, расторопной Натальи Алексеевны и младших шелиховских детей. Женщины без конца потчевали Николая всем, что могли подать на стол из печи и погребов, старательно выдумывая всё новые изыски сибирской кухни.

А с другой стороны, грянувшие морозы и вынужденное безделье вполне располагали к тому, чтобы из постели подниматься к двенадцати пополудни, а ко сну отправляться, едва стемнеет, предварительно откушав всяческих разносолов, пропустив рюмку-другую стилью водочки. Перед сном ещё садились порой за карты с приглашёнными к ужину гостями. А уж сыграв партейку в карты и вконец осоловев после ужина, закивать, засыпая, головою в направлении широкой семейной кровати, где под боком молодой жены просыпались порой страстные желания.

Вот так хорошо легла женитьба на душу столичного чиновника.

И как тут не располнеть?

Однако, выслушав предложение тестя о поездке на ярмарку, взбодрился Николай и решительно взялся собираться.

Выехали, собрав обоз в несколько санок, поутру и ходко пошли по льду Ангары в сторону Байкала. Дорога была ровной и наезженной, но к обеду, добежав до деревни Тальцы, вынуждены были сойти со льда на дорогу, что извивалась по берегу. Со слов местных мужиков, сразу за деревней начинался обширный зажор, и пористый лёд дыбился под натиском воды. Пришлось умерить пыл и двигаться с оглядкой по лесной дороге, на которой тяжёлые санки вязли и кони выбивались из сил. Так едва-едва к ночи добрались до деревни Никола, где и заночевали.

С утра пораньше, миновав последние вёрсты, на лёд Байкала вышли, на простор сибирского моря, на более верный лёд. Байкал радовал простором. Воздух был прозрачен, лёд едва припорошён снегом, а вдали виднелся противоположный берег, вздыбившийся величественным и заснеженным на фоне голубых небес Хамар-Дабаном. Дорога вела вперёд, изредка петляя: обходила торосы да редкие трещины.

К вечеру добрались до Танхой, где и заночевали на постоялом дворе у трактира, определив в тепло и лошадей.

Поутру раненько тронулись снова в путь, уже по берегу Байкала, всё отдаляясь от него на юг. Густая тайга сменялась редколесьем, и уже на подходе к Кяхте местность предстала переменчивая: редколесье сменялось степным пейзажем. За время пути ещё трижды заночевали на станциях с постоялыми дворами и, используя ясные денёчки, по укатанному зимнику доскочили ходко до Кяхты — всего-то за пять деньков.

Кяхта, место, где сходятся российская глубинка с ярким и богатым Востоком, встретила путников звоном колоколов всех церквей, которых настроено было здесь местными купцами достаточно. Здешний рынок утопал в товарах, потребность в которых была велика.

Местные купцы, владея торговой монополией, «наваривали» густо на продаже чая и восточных специй, просто перепродавая товар приезжим торговым людям. Сколотив состояние и порой с трудом понимая, куда деньги девать, частенько просто куражились, отстраивая хоромы да доходные дома в столице, а в Кяхте вкладываясь в церковные приходы и монастыри, замаливая бесчисленные грехи.

Резанов сопровождал тестя в его передвижениях по Кяхте от снятой по случаю приезда квартиры до банка и самого рынка, на котором насмотрелся столичный чиновник на диких обличьем, тёмных лицом погонщиков верблюдов, торговый люд и всяческую челядь, обслуживающую торговую суету. Чайный рынок представлял длинные ряды тюков с чаем и специями, что громоздились, казалось, бесконечными рядами.

Вникать во все тонкости торгового процесса у Резанова не выходило. Трудно удавалось вникать в суть переговоров Шелихова с купцами, сложно было соответствовать их привычкам гулять до глубокой ночи в обществе приглашённых женщин с их легкомыслием и бесконечными визгами в объятиях бородатых и, как на подбор, крепких ухажёров.

После таких затяжных вечеринок Григорий Иванович заявлялся в снятую квартиру под утро, ещё хмельной, в аромате женских духов, сивухи и пота, перепачканный алой помадой. Подсаживаясь на кровать к спящему Резанову, непременно будил его и заставлял выпить чарку коньяка, объясняя, смеясь, что ему нужно на опохмелку, а Резанову на почин нового дня. Пошутив с зятем, шёл спать и до обеда храпел на все лады, демонстрируя крепость духа и уверенность в завтрашнем дне.

Но, забавляясь, дела тем не менее Шелихов решал споро: закупил товар и отправил обоз со своим доверенным приказчиком под охраной в Иркутск, а сам, оставшись завершить дела, ещё раз устроил крупное застолье, пригласив всех уже

примелькавшихся за дни ярмарки купцов и дам. После шумной и пьяной вечеринки, поутру, тесть и зять в сопровождении приказчика компании отправились в Иркутск.

Снова потянулись вдоль дороги заснеженные равнины и холмы, перелески и убогие станции, где можно было поправить поклажу, перекусить взятыми с собой сальцем и жареной курицей и, несколько размявшись, ехать дальше.

Снежная равнина с редкими в этих полустепных местах перелесками, покачивание санок, ленивое, вполголоса, покрикивание возницы, как обычно, быстро убаюкивают путника. В глубине собольей шубы, в её адовом тепле, под двойным тулупом, тело размягчалось и млело, и только лицо, открытое ветру через узкую щель накинутаго на голову ворота размером с добрую подушку, улавливало стылый со жгучими снежинками воздух. Спрятав лицо и отдавши всего себя неге забытья, Николай задремал. Вдруг кони с плавного, тягучего, размеренного хода резко встали и шаррахнулись в сторону, санки, перед тем как встать, дёрнуло, и раздались грубые чужие голоса.

«Застава, что ли?» — подумал спросонья Резанов.

Рядом зашевелился Шелихов, крепко спавший после доброго обеда и нескольких чарок водки. Вскоре раздался его голос, деланно грубый, сильный и оттого почти незнакомый. Если бы Шелихов не был совсем рядом от него, Николай так бы не понял, что говорит он.

— Что это вам нужно, шельмецы? Что удумали? Прочь! А ну дай дорогу! Купца Шелихова не разглядели? А не выйдем ли вам, сволочи, это боком? — Заткнись, барин, да давай плати подать за проезд по нашим местам! Здесь мы вершим закон и правосудие! — раздалось уверенно с дороги.

Николай пока ничего не видел, схоронившись в возке, но ситуация явно требовала его участия, и, высунув лицо из уютной шубы, Резанов увидел несколько живописных фигур в тёмных одеждах, перегородившие дорогу санки, запряжённые тройкой коней, и отметил впереди стоящего человека в шапке, лихо задвинутой на макушку лохматой чёрной головы. Человек был огромен, как казалось, стоял уверенный, широко расставив ноги, на нём был короткий полушубок, а в руках кремнёвое ружьё. Второй разбойник стоял позади жоака и сжимал в руке топор.

Шелихов между тем сошёл с возка и теперь твёрдо и спокойно шагал навстречу жоаку. На боку у Шелихова висела шпага, которая казалась в сложившейся ситуации совершенно бесполезной. Шелихов нацепил шпагу перед поездкой и, смеясь, заметил, что не помешает сей атрибут в дороге, ибо лихой здесь живёт народец, не чуждый пощипать возвращающихся с ярмарки купцов.

Шелихов вплотную подошёл к разбойникам и, не проявляя при этом какой-либо агрессии,

продолжал с главарём вести обмен фразами, говоря спокойно и даже несколько снисходительно, как с ребёнком. Чувствовалось, что разбойник несколько смущён.

— Ты что это, братец, купца Шелихова не признал? Меня знают лихие люди по всей Сибири, а ты не признал? Беру смелых да отчаянных в свою команду для промысла в Америке! Слыхивал ли? Я ведь не просто купец, у меня влияние в этих краях таково, что завтра придут сюда солдаты, и вам ой как будет несладко. С губернатором надясь ужинал, так что смотрите, до острога быстренько проводим, а то, если шибко попросите, можем и не довести до острога, в буреке оставим для медведя. Убирайте сани с дороги и езжайте далее с Богом, пока миром прошу!

— Откупись, барин, по-доброму, и дело с концом,— уже как бы примирительно ответил вожак и насутился, давая понять, что без денег не отпустит задержанный возок.

— Ладно,— ответил Шелихов и как будто полез в карман за кошелём и стал уже доставать увесистую кубышку, но вдруг резко бросил что-то навстречу разбойникам и серое облако окутало лихих людишек.

Разбойники схватились за лицо, яростно натирая глаза и, ослепнув, стали кружиться и подвывать, наткаться друг на друга, совершенно не ориентируясь в пространстве.

Шелихов между тем решительно поднял брошенное ружьё из снега и, достав из ножен тоненькую свою шпагу, резко, наотмашь, умело стал хлестать разбойников, которых неплохо защищали их овчинные полушубки. Тогда Шелихов прицельно ударил плашмя гибким лезвием шпаги главаря по голове, уже потерявшего свою лихо заломленную шапку. Вожак рухнул в снег. Голова у него взмокла и ещё более почернела, а на дороге растекалось, плавя снег, алое пятно.

Резко повернувшись с ружьём в сторону разбойничьего возка, в котором сидел опешивший возница, Шелихов прокричал:

— Убирай коней с дороги! Всех порешу!

Страшный вид купца сразил и Резанова. Побелев резко лицом и сверкая глазами, с искажённым судорогами ярости ртом, Григорий Иванович был страшен.

На дороге замешкались, засуетились, и тогда, шагнув к возку, Шелихов выхватил из дорожной сумки пистолет и, несколько укоризненно скользнув бешеным взглядом по Резанову, пальнул в сторону разбойников. От выстрела кони рванулись, стремной встал на дыбки, кто-то из разбойников, охнув, завалился в сани. Над местом стычки за клубился сизый дым от пистолетного пороха, и в морозном воздухе пахнуло сернистым. Нелепо перемешивая снег копытами, увязнув по брюху, кони стали тянуть чуть ли не опрокинувшийся

возок по целине прочь. Но возница всё же проявил своё мастерство и, полный отчаяния, нахлёстывая коней, вывел их на твёрдь дороги, и санки с двумя разбойниками полетели вдаль, оставив на дороге страдать своих товарищей. Глухой топот копыт скоро утих, и только стоны пострадавших в схватке разбойников сопровождали сценку.

Шелихов стоял теперь, широко расставив ноги, на дороге, смотрел вслед возку, а затем, глянув на страдальцев, опустил ружьё, резко шагнул к возку и, усевшись поверх шубы, скомандовал:

— Давай, Михей, гони!

Кивнув в сторону разбойников, Григорий Иванович подвёл итог схватки:

— Небось оклемаются, а оклемаются— урок будет.

Возница щёлкнул кнутом, и кони, упираясь и часто перебирая ногами, кидая из-под подков комья снега, тронули прилипшие к снегу санки и пошли, пошли, набирая ход.

Шелихов укрылся шубой и сидел молча, закрыв глаза. Его меховая шапка была надвинута на глаза, и казалось теперь, что никакой остановки по требованию разбойников не было вовсе. Вдруг, открыв глаза, Шелихов сказал:

— Вот ведь как знал, взял с собой адскую смесь— соль с китайским жгучим перцем: действует лучше пистолета в ближнем бою,— и, ткнув Резанова локтем в бок, спросил:— Да ты никак сомлел, перетрусил, Николай Петрович? Бойчее тут нужно быть. Сибирь разбойниками, как старая шуба клопами, набита. Во всех щелях хоронятся до поры. Да меня пугать уже дело пустое. В наших американских делах и не такое переживали. Порой казалось: всё, предел, конец и нет хода назад. А всё же выбирались из труднейших положений, находили выход и, порой шагая по трупам, выходили сухо из воды.

Умолк и задумался Шелихов, вдруг вспомнив чёрный песок и свинцовые валы океана с их многотонным напором. Вспомнив далёкий свой промысел, вдруг как наяву увидел бесноватого вождя местного племени с закатившимися пустыми глазами, которого пришлось ему зарубить, так метался и яростно нападал он на колонистов, будучи уже посаженным на цепь после неудачного, но очень кровавого нападения на охотников-промысловиков.

Задумавшись о Резанове, который не помог ему в схватке ни словом, ни делом, Шелихов подумал о том, что явно не боец зятёк, не боец, хоть и офицер в прошлом. Да и ладно. Его задача в столице ладчинить—дела канцелярские двигать, а с лихими людьми мы и сами управимся. А так подумав и успокоившись, достал из саквояжа Григорий Иванович початую уже бутылку коньяка и глотнул прямо из горлышка, а затем ткнул в бок Резанова и молча протянул ему бутылку тёмного стекла. Резанов вздрогнул сначала, а увидев протянутую

тестем бутылку, взял её поспешно и, задохнувшись, проглотил обжигающей и ароматной жидкости. По телу пошла волна согревающего тепла, ударил нервный озноб, и мир как-то снова встал на свои места, и не осталось места ни тревоге, ни грусти.

Путь лежал теперь уже к Байкалу, а там открывались родные пределы, к которым теперь уже ходко, как будто скинув груз, летел их возок.

В Иркутске Николай чувствовал неловкость от своего малодушия и всё ждал, как скажет об этом тесть. Но Шелихов молчал и не подавал и виду, и вскоре всё позабылось, а вскоре кануло в небытие.

## Карл

Карл Иванович Инсберг ранним летним утром шёл привычной дорогой.

Маршрут российского пенсионера пролегал через ближайшую аптеку, в которой он покупал иногда лекарства по льготной цене, летний неформальный рынок с молоденькой редиской, лучком и укропом, неспешно распродаваемым словоохотливыми огородницами, и киоск со свежим хлебом и молоком.

Ночью прошёл дождь. Прозрачные на промывом асфальте лужи выявляли неровности дорожного покрытия. Края луж были припудрены белым налётом пыльцы — пришло время цветения. У лужи скакали вальяжно голуби и суетились воробьи — пили водицу и умывались, старательно утирая носики о яркие перья.

Карл улыбнулся. Много раз им виденные картинки радовали, как радуют ребёнка знакомые рисунки в любимой книжке.

Если жизнь — книга, то Карлу осталось дописать и перевернуть её последние страницы. Он это осознавал и чувствовал большим, набухшим от работы и переживаний сердцем и всем своим большим грузным телом, которое порой отказывалось служить. Болели суставы, колени к утру опухали, опухали и ступни ног так, что с утра приходилось обувать очень старые разношенные туфли, которые так и числились в реестре востребованных вещей как туфли утренние.

Так и шаркал по асфальту Карл плохо гнущаяся ногами в потерявших вид туфлях, определив себя не без улыбки в число «лыжников», иронизируя по поводу собственной походки.

Карл был достаточно подтянут, аккуратен, а в свои неполные восемьдесят лет выглядел вполне свежим. Мужчина следил за собой, каждое утро перед выходом на улицу брился, смывая с лезвия бритвы совершенно белые волоски щетины, вспоминал, как он впервые побрился, удаляя нежную тёмную растительность со своих щёк и подбородка.

Было это так давно, но по-прежнему так свежо в памяти, что даже помнился вкус хозяйственного мыла, которыми стирали бельё, мылись в бане и из него же взбивали пену для бритья.

Пройдя привычным маршрутом с пакетом, в котором лежали теперь капли и таблетки, добытые в аптеке, хлеб и молоко, Карл не спешил домой, в свою трёхкомнатную квартиру, полученную им давненько уже в панельной пятиэтажке, ещё перед выходом на пенсию. Квартиру семья Карла получила за его многолетний труд, когда уже не доставало сил тянуть лямку горного мастера на далёкой северной шахте и следовало перебираться в город.

Подойдя к дому, Карл присел на лавочку под тенью деревьев.

Пискнул телефон. Карл достал его и увидел, что пришло сообщение от жены. Как обычно, сухо, без предисловий, перед глазами возник вопрос: «Ты где запропастился?»

Не удивившись тону и представив привычные раздражительные интонации жены, невольно отметил дату на телефоне — четырнадцатое июня<sup>1</sup>.

Мастером Карл был хорошим.

Природная немецкая дисциплинированность и стремление всё сделать аккуратно и в срок очень ценились на предприятии. А то, что Карл практически не выпивал, делало его просто незаменимым работником. На этом уважении начальства и подчинённых Карл держался за свою работу, которую знал досконально, но не любил. Но так вот вышло, что в юные года, когда следовало решать, чем заниматься в жизни и куда идти учиться профессии, оказался он в горном техникуме. А куда ему было податься после восьмилетки в этом сибирском шахтёрском городке, в котором, казалось, как ни крутись, в шахте и окажешься? Представлялось порой, что все дороги заканчиваются где-то сразу за этим шахтёрским городком. Собственно, для него, молодого человека со странным для русского уха именем Карл, в те послевоенные годы, годы разрухи и выживания, иного пути, возможно, и не было.

Где-то в глубине его сознания таилась мечта о полётах, о небе, о невероятной свободе и празднике духа. Когда же повесткой позвали первый раз в военкомат для учёта будущих военнослужащих, на вопрос улыбчивого молодого военкома о желании служить Карл неосторожно сказал: — Хочу быть лётчиком.

Военком, окинув взглядом Карла, усмехнулся и спросил:

— Ты же немец? Таких, как ты, овощей, знаешь, пацан, в авиацию не берут. В пехоту если, и то в крайнем случае, — грязь месить.

Военком хорошо знал историю депортированных переселенцев и понимал, что высланные перед

1. 14 июня 1941 года — день депортации нескольких десятков тысяч граждан Эстонии, Литвы и Латвии в восточные области СССР.

самой войной из Прибалтики и иных мест немцы и иные, по мнению власти, неблагонадёжные особи человеческого рода жили здесь тяжко, выживали, вытягивая жилы на непосильной работе.

— Я не немец, я эстонец, — ответил Карл, глядя уже исподлобья, уловив, что дал промах, поддавшись на обаяние военкома, и высказал то заветное, что нужно прятать в себе.

— Рассказывай байки. С такими-то имечком и фамилией ты — эстонец? — и, оглядев внимательно парнишку, добавил: — А хоть бы и так — хрен-то, он не намного редьки слаще. Твои вон кровники до сей поры в лесах прячутся. Лесные братья — слыхивал? Всё отстреливаются, по лесам отсиживаются, схроны роют — ждут подмогу от своих недобитых в сорок пятом, — военком нервно закурил, пуская агрессивно дым в сторону призывника.

Карл смолчал. Он мало знал о том, что сейчас реально происходит на его родине, в местах, где он родился. Об этом в газетах не писали.

Выйдя от военкома и проглатывая обиду, Карл сорвался с места, кинулся назад в кабинет военкома и, задыхаясь, выкрикнул в лицо опешившему офицеру:

— Вы разве не знаете, что первое кругосветное плавание — подвиг русских моряков под руководством командора Крузенштерна — совершили морские офицеры, из которых почти все были прибалтийскими немцами? Сам Крузенштерн родом из Ревеля. А Фабиан Беллинсгаузен, Отто Коцебу — великие русские мореплаватели — прибалтийские немцы, ученики Адама Иоганна фон Крузенштерна! А сколько ещё прибалтов полегло во славу России! Вы разве не знаете?!

Закончив свою, как вспышка огня, яркую и яростную речь, Карл развернулся и выбежал из военкомата, пылая лицом.

Здесь, в сибирском шахтёрском городке, он оказался, перебравшись вместе с мамой и её новым мужем из-под Иркутска. Там они жили на поселении, сроднившись поневоле с крепкой деревней Шаманка, что ютилась одним концом между высокой вертикальной стеной скалы и быстрым Иркутом, а другим концом раскинулась привольно по широкому распадку, уходившему в глубину тайги.

Здесь они оказались поздней осенью 1941 года, когда уже польхала на западе страшная по своей сути и последствиям война. Здесь, в Сибири, её влияние ощущалось по строгости осунувшихся сосредоточенных лиц, военной форме на мужчинах, эшелонам с людьми и техникой и вдруг опустевшим деревням и сёлам, в которых теперь в основном бабы да девки с мальцами вершили все мужские дела.

Собственно, этого Карл помнить не мог. Мама его, полугодовалого, в обмороке, принесла на руках в избу, что отрядили им на проживание, подселив к немолодой уже паре, отправившей на войну двух

сыновей. И уже здесь, на краю Шаманки, началась их новая жизнь и впервые осознанная жизнь Карла.

Отец тоже был невдалеке от них, и это было большой удачей, так как власти нередко разлучали семьи, обрекая на долгие страдания в разлуке. Но и здесь для неблагонадёжных мужчин власти определили иной статус пребывания в местах переселения. Этот статус был — зек.

Здесь, возле Шаманки, в отдалении, у реки Каторжанки, были выстроены бараки, обтянутые колючей проволокой. Вновь прибывшие были заняты заготовкой леса, сплавляя и вывозя брёвна к реке, по которой отправляли древесину вниз по течению реки до города, где она попадала на переработку. Говаривали, что из тамошней сосны делают приклады для винтовок, ящики для снарядов и патронов, а из берёз — лыжи для солдат.

Отца Карл не помнил совсем. Стефан Инсберг не мог выходить за внешние пределы колючей проволоки, чтобы повидать сына. Карл помнил лишь отрывочно, как они с мамой готовились к встрече с отцом, экономя, собирали для него хлеб, сало и прикупали табак. Утром в назначенный день торжественно выходили в направлении лагеря и вместе с другими женщинами шли несмело в запретную зону через шаткий мост, мимо охраны и рвущихся с поводков псов.

Мама позже рассказывала, что её муж, печной мастер и жестянщик, был почти что коммунистом, поддерживал всё советское и был сторонником и равенства, и братства. Выбравшись из Кёнигсберга в Таллинн, после прихода к власти фашистов молодой и грамотный Стефан активно взялся поддерживать местных коммунистов, а после прихода в Эстонию Красной Армии радовался неподдельно, но вдруг оказался в списках неблагонадёжных как бывший подданный Германии.

Так семья Стефана Инсберга — он сам и молодая жена с трёхлетним сыном — оказалась в Сибири, преодолев в теплушке тысячи вёрст по огромной, особенно в сравнении с крошечной Эстонией, стране.

Везли их повозь: отец — под охраной в охраняемом вагоне, а они с сыном и такими же, как они, женщинами и детьми — в набитых до отказа деревянных теплушках. Вагоны продувались насквозь, а в дождь в вагоне было сыро и холодно. Благо, что основной путь поезд с депортированными проделал летом, и только на исходе пути вагоны застряли, пропуская на запад военные эшелоны. Здесь их и застаивала стывшая сибирская осень, холодные туманы и изморозь к утру на стенах вагона.

Отец умер в лагере.

Здоровья молодому печнику хватило лишь на два неполных года. Сначала ему не повезло — придавило и изрядно помяло скатившимся бревном, а потом началась чахотка, харканье кровью, и сил тянуть непосильную лямку жизни уже не достало.

Похоронили Стефана у деревни, на берегу Иркутка. Сами похороны Карл немного помнил. Запомнил, как опускали дощатый, грубо сколоченный гроб и как громко застучали комья земли о ящик с телом отца. Малый ещё не понимал, отчего так убивается над ящиком его мама. Запомнил неказистый холмик земли и установленную каменную плиту, что изготавливали сами заключённые в лагере для «своих нужд».

Карл сидел на лавочке возле подъезда своего дома и вспоминал, как его, молодого выпускника горного техникума, откомандировали на Север, к океану, в далёкую Хатангу.

А куда ещё направить отличника и обладателя красного диплома с такой непростой фамилией, как Инсберг, и именем Карл? Конечно, на самый трудный и удалённый от центра жизни участок социалистического созидания. Так будет всем спокойнее.

Вспомнил, как он получал паспорт.

Метрика о рождении, что сохранилась ещё с Кёнигсберга, написанная по-немецки красивым готическим шрифтом, с приложенным листком перевода с немецкого на русский, встревожила паспортистку:

— Что за Кёнигсберг? Нет теперь такого города! — и процедила, сжав до белизны губы, глядя в упор на побледневшего парнишку: — Немчура недобитая... Давят вас, давят... а вы из всех щелей всё лезете и лезете...

Карл, не помня себя, стремительно вышел и, не забрав метрики, вернулся домой.

Вскоре, однако, его вызвали в милицию повесткой, и милицейский чин, строго оглядев мальчишку, вручил ему паспорт, в котором в графе национальность стояло «немец», а местом рождения указан сибирский шахтёрский городок.

Жена, с которой он сошёлся на Севере, сразу после знакомства выказала недовольство его режущим слух именем.

— Карл! Что за имя для русского? Я буду звать тебя Кириллом! Может, возьмёшь и поменяешь имя официально?

Имя своё Карл менять не стал, но дома и на людях жена стала звать его Кириллом. С дочерями было проще. Для них он был просто папа. А некую нелепость ситуации с именем пережили легко: Карл так Карл.

Молодости дано легко принимать новое и необычное.

Теперь вот иные времена. Всё западное в большом фаворе. Младшая дочь, выходя замуж, упёрлась и простую русскую фамилию мужа не взяла — со скандалом сохранила фамилию отца. Её имя в сочетании с отчеством звучало и вовсе по-европейски: Анна Карловна Инсберг. Дочь этим бравировала, считая, что это её выделяет из толпы.

Карл много читал и думал о своём истинно родном городе Кёнигсберге. Особенно его взволновал старый альбом, в котором он нашёл подробную карту и несколько старых больших фотографий города, сделанных ещё в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков. На этих фото Кёнигсберг, город Канта, предстал как современный европейский каменный город, с рекламой на фасадах домов, мостовыми из брусчатки, каменными разводными мостами, конными экипажами с внимательными аккуратными кучерами, любопытствующими мальчишками в аккуратных костюмчиках и девочками в светлых платьицах и шляпках. Вот через мостовую, мокрую после дождя, сразу за грохочущим трамваем, улицу переходят люди, и среди них почтенный господин заботливо держит под руку молодую стройную особу. Женщина выглядит празднично и держит над собой зонтик — видимо, дождь всё ещё её беспокоил.

«Интересно, кто они? Где они, эти коренные кёнигсбергцы, по которым прокатился огненный шквал и растирающий всё живое и неживое в порошок каток страшной войны?»

Рассматривая фотографии, Карл невольно ловил себя на мысли, что он ищет знакомые лица — может, отца или мамы. Ведь они познакомились в этом городе. Именно в этом городе забилось его маленькое сердце, проснулись дух и сознание как искры любви его родителей.

В свой город он так и не попал. Собравшись как-то в отпуск и наметив поездку в Калининград, вдруг получил компетентный совет. Не нужно, мол, тебе, Карл Иванович, с вашей историей ехать в закрытый от внешних взоров город.

Теперь, вспоминая тот эпизод жизни, Карл почувствовал вновь обиду. Так и не стал он своим в этой стране. Теперь, конечно, иные времена и путь в родной город открыт, но стёрлись в душе струны родства с местом рождения, и только память даёт знать о том, кто он и откуда. Да и путь не близкий в этот Калининград.

— Ни здоровья, ни денег не хватит, — отмела робкие его предложения жена, тут же, как обычно, насупилась и молчала в ответ целую неделю без малого, как бы утверждая свою правоту.

Надуться в ответ на что-то не до конца ей понятное было личным стилем поведения жены.

Отступился Карл от мысли побывать в родном Кёнигсберге и совершенно неведомом ему теперь Калининграде.

Вдруг вспомнилось Карлу, как в школе, в которую он поступил по прибытии с поселения в Шаманке, его, мальчика, взяли дразнить местные мальчишки. Услышав его имя на уроке и, похихикав дружно в кулачок, тут же незамысловато стали кричать вслед на каждой перемене: «Карл у Клары украл кораллы!» — и ржали теперь уже во всю глотку.

Чему так радовались и что так их бодрило — понять было сложно. Ответ можно было дать один: стая почуяла чужака.

Но постепенно привыкли, сдружились, и проблема растворилась. С прежними недоброжелателями Карл теперь ходил в обнимку и стал заметной приметой, несколько необычной частью стаи. Дружить и быть верным Карл умел. Но с поступлением в техникум проблема вновь объявилась. Половое созревание обостряет конкуренцию. Устатного и спортивного Карла появились завистники. Зависть обернулась жёстким противостоянием и сопровождалась потасовками, когда двое-трое парней поджидали старательного Карла то во дворе, то в парке по дороге домой и вязались, норовили задеть, обидеть — просто так, от скуки.

Повстречав как-то своего одноклассника и поделившись с ним проблемой, получил совет: а давай к нам в секцию бокса. Научишься драться — сразу отстанут, силу тут уважают.

Карл пришёл по совету товарища к началу занятий, и тренер, лысеющий невысокий крепкий мужчина со сплюснутым носом, набухшими надбровными дугами и посечёнными шрамами губами, пытливо оглядел парня и, отметив статность, предложил:

— Вставай в спарринг вот с ним, — и указал на ладного крепыша, что методично колотил грушу. — Выстоишь раунд против разрядника — оставлю в секции.

Карл кивнул и стал натягивать на кисти рук потрёпанные, расквашенные и пропахшие потом и кровью кожаные боксёрские перчатки.

Бой был скоротечным. Парнишка ловко скакал вокруг Карла и отвечивал раз за разом крепкие, стремительные злые оплеухи, скоро разбив лицо Карла в кровь. Он терпел, не опускал рук, но справиться с ситуацией не мог. В один из моментов схватки очередной удар пришёлся точно в челюсть, и свет в глазах Карла померк.

Очнулся Карл от похлопываний по лицу. Тренер, склонившись над ним, привёл его в чувство и объявил, что он прошёл спарринг и если ещё не остыл к занятиям боксом, то пусть приходит в зал на тренировку.

Голова после неравной схватки гудела, губы опухли и кровоточили, под глазом набух синяк, слегка тошнило и двоилось в глазах.

После злополучного посещения боксёрского зала, после сотрясения головного мозга зрение у Карла стало слабеть, и пришлось вскоре выписать очки. Вопрос о поступлении в лётчики решился бесповоротно.

После изрядной трёпки в боксёрском зале Карл стал смелее; стало понятно: помочь ему не сможет никто, только он сам может себя защитить. Нападки недоброжелателей пропускал теперь мимо ушей, а когда приставали и угрожали расправой,

смотрел на обидчиков спокойно и прямо, выказывая новость откуда взявшийся бесстрашный характер. Те и отступили. Стало неинтересно доносить того, кто не боится и презирает их.

Закончился курс в горном техникуме.

Жизнь Карла в новой семье, с отчимом, не ладилась. Отчим, служивший в лагере возле деревни Шаманка и не раз конвоировавший его отца, приглядывал как-то среди женщин белокурую статную Марту — маму Карла. Разузнал вертухай, где проживает тронувшая его сердце молодая женщина, и взялся захаживать с подарками: то хлеб с тушёной принесёт, то ломоть сала и головку сахара вручит. Мама смущалась, пыталась отвести ухажёра, стыдила, когда уже стал её лапать настырный конвоир. Но тот не унимался, а вскоре и весть принёс, что нет, мол, теперь у Марты мужа, вышла такая вот несладуха: то ли помер, то ли удавили на лесосеке. Такая весть пришла с будущим отчимом, когда придавило отца бревном. Но, оказалось, отец избежал смертельной участи, и поторопил тогда события новоявленный ухажёр. Но время шло, добил недуг отца, и тогда просиявший жених пригласился уже с вестью о его состоявшейся смерти.

Мама сопротивлялась напору ухажёра, но тем не менее сдалась.

После смерти отца вовсе стало тягостно справляться с бременем жизни. Было очень голодно и совершенно безысходно. Война гремела всюду, и, казалось, конца ей не было видно, а тут взрослый человек зовёт ехать с ним в какой-никакой город, предлагает стать женой. Показалось, что это выход и возможность выжить. Согласилась и сразу понесла от нового мужа, а в означенный срок родила доченьку. Назвали Сонечкой.

Так они и перебрались в Черемхово, где отчим продолжил службу в охране в лагере для зеков.

Поначалу всё было в семье вполне пристойно. Но там, где нет любви, начинает лютовать злоба, коли не хватает такта и воспитания. Не получив от красавицы Марты любви и отметив, что грамотная и воспитанная женщина стесняется своего мужа, отчим стал обижать маму. Карл вступился сразу, как мог защищал маму, за что был неоднократно бит злым и пьяным отчимом.

Потом как-то стерпелось.

Только отчим пил всё более и более, а придя домой, сначала ругался и кричал, обзывал маму «немчурой», передразнивал её акцент, специально коверкая слова и гримасничая. Однажды, придя домой пьяным и не добившись взаимности от Марты, отчим обвинил её в том, что она до сих пор любит своего Стефана. А в отместку объявил, что её мужа тогда на лесосеке придавило бревном не случайно. Это он, стремясь завладеть Мартой, подкупил зеков удавить её мужа и скинуть брёвна со штабеля.

Случалось, что, поглумившись над женой, отведав пару затрещин, отчим засыпал, измождённый

собственной ненавистью, а ночью, очнувшись от угара, насильно жену, сдавливая рот своей широкой ладонью, чтобы не было слышно её рыданий.

Карл всё это слышал, но жаловаться было некому.

Мама терпела несколько последних лет замужества из последних сил, а когда Карл уже заканчивал техникум, тихо угасла, оставив их с Сонечкой наедине с извергом отцом и отчимом.

Едва дотерпев до конца учёбы, Карл с радостью отозвался на предложение ехать на далёкую шахту. Обещали жильё и хороший оклад. Пришлось оставить Сонечку на попечение её отца, и это была очередная горькая потеря в такой ещё короткой жизни Карла.

Снова заскулил телефон.

Теперь жена уже звонила. Карл ответил. Жена снова спросила о том, где он и почему не идёт домой: завтрак, мол, стынет.

Вот странность. Если он дома, жена может целый день молчать, не замечая его, а на его обращение упорно отмалчиваться, демонстрируя нежелание общаться. Но стоит только ему выйти из дома, начинался телефонный контроль и допрос при возвращении.

Жене Карл был благодарен за долгие годы совместной жизни на Севере, за дочерей, которые не забывали их и подарили внуков. Какой-то большой, пылкой любви не случилось в жизни, но прожита вместе достойная жизнь, за которую он был в ответе и смог сохранить семью и добрые отношения в ней.

Карл тяжело поднялся со скамьи и направился к подъезду.

Дома Карл нашёл большую дорожную сумку и стал собирать вещи в дорогу. Жена с тревогой наблюдала за его сборами и наконец резко спросила: — А ты это куда собираешься, старый?

Не дождавшись ответа, уже нервно-истерически снова задала вопрос:

— Кирилл, ты куда собрался от меня?

— Я не Кирилл, я Карл, — впервые возразил ей он. И продолжил: — Поеду на могилку к отцу и к маме. Позвали они сегодня меня.

То, как всё было сказано Карлом, подсказало женщине, что решение принято и менять его муж не будет.

На следующий день Карл стоял в дверях, и жена провожала его словами:

— Возвращайся скорее уже. Позвони, как придёшь на место.

Многое изменилось у деревни Шаманка, что стоит на берегу Иркутта. Дороги в асфальте, исправно работает паром на сноровистом Иркуте, по дороге несётся поток машин. Только скала, как прежде, величественно громоздится вдоль реки, да тайга, как и ранее, простирается вокруг.

Карл перебрался через Иркут на пароме и спустил на улицу деревни, где когда-то он малым ребёнком бегал вдоль реки, наблюдая, как зеки по реке гоняют плоты.

Река, как и прежде, несла свои воды. Очередное поколение коров и коз паслось на её берегах, пощипывая травку. Карл пошёл вдоль реки за деревню, в направлении старого погоста, где когда-то хоронили его отца. Пройдя вдоль реки изрядно и не отметив ни могил, ни заборчика вдоль погоста, обратился к мужчине, что удил рыбу, свесив ноги с невысокого берега:

— Скажи, уважаемый, а где тут было кладбище когда-то? Здесь, на берегу. Не деревенское, а для ссыльных и зеков.

Деревенский внимательно осмотрел Карла, и было понятно, что должен по возрасту помнить он о том захоронении.

Оглядев неспешно Карла, мужик показал рукой на ровный берег реки ещё выше по течению, где были видны поваленные и вросшие в землю каменные плиты и как будто кресты.

— Наводнение было много раз. Иркут разливается, меняет русло, вот и посымвало могилки-то. За ними охотников ухаживать не было в деревне. Приезжали как-то из Прибалтики люди, походили, посмотрели, но так всё и оставили. С тех пор совсем размыло захоронение. Было такое, что кости в реке находили, а мальцы даже череп таскали по улице, пока милиция их не приструнила. А ты-то кто будешь?

— Я — Карл. Жил здесь с мамой ребёнком. Отец здесь у меня похоронен, — ответил Карл.

— Вот оно как! — воскликнул рыбак, оглядел ещё раз Карла и как-то сразу потерял интерес к приезжому.

Карл зашагал к каменным плитам, вросшим в сибирскую землю. На плитах и крестах, высеченных из камня или отлитых из бетона, были видны ещё едва читаемые надписи латинскими буквами. Местами можно было прочесть имя и фамилию, даты рождения и смерти. Некоторые плиты и кресты лежали вниз, другие вверх текстом. Карл решил проверить все, мало рассчитывая найти надгробие на могиле отца. Надгробий было немало, и он, прилагая немалые усилия, приподнял последнее из них, перевернул и, поливая водой из найденной на берегу пластиковой бутылки, отмыл поверхность с текстом и сразу прочёл: «Stefan G. Insberg. 10.02.1918 — 23.05.43».

«Вот мой корень, вот моя родина», — подумал Карл.

Он помыл руки, умыл лицо в реке и, вернувшись к надгробному камню, присел рядом на сухой ствол, наполовину занесённый песком. Достал из сумки бутылку водки и простую снедь, собранную женой в дорогу. В стакан, установленный на надгробную плиту, была налита водка, а стакан



покрыт куском чёрного пахучего хлеба с ломтиком сала. Себе Карл налил водки в крышку от термоса и, задыхаясь от слёз, выпил разом горькой обжигающей жидкости. Слёзы текли, как маленькие реки, по щекам старого Карла и капали в крышку от термоса, на лацканы пиджака.

Карл вдруг понял: жизнь прожита,—и захотелось остаться здесь навсегда, так остро затосковал он, и приступила к груди щемящая боль, но тут в кармане пискнул телефон, и мир не перевернулся, а вернулся вновь на свой круг бытия.

Карл достал телефон и прочёл сообщение от жены: «Ты где у меня запропастился, Карл?»

## Подарочки

Вволю натрудившись и покуролесив по миру, порой в минуты отчаянные вспоминаем мы дом детства, тёплую завалинку и высокое крыльцо, глаза ясные, глубоко упрятанные на морщинистых лицах, черты которых так знакомы и близки, что вдруг проступает ясно истинность желаемого.

Хочется назад, к своим старикам, в простоту и истинность добрых отношений.

Хочется проснуться на бабушкиной перине от солнца в лицо или раненко от запахов пекущихся пирогов и, зажмурившись, вновь ощутить этот прилив восторга жизнью, от которого сдавливает гортань и какой-то птичий крик рвётся из груди вовне.

И, бывает, собираемся и едем, а в последний момент вдруг вспоминаем: ведь что-то нужно привезти и подарить старикам. Знаем: будут рады всему, потому что рады они прежде всего нам, нашему к ним вниманию. И вот здесь и случаются курьёзы. Подарив бабуле шикарные кожаные перчатки, а деду красивую шляпу, отметив радость и даже гордость в стариковских глазах, не вдруг примечаем, что не носят нами даренных вещей старики. А когда приезжаем после длительного перерыва, нежданно можем обнаружить давно даренную и забытую уже нами вещь новёхонькой вдруг в красном углу избы под образами.

Верный знак: старики соскучились.

И становится неловко за собственную неуклюжесть душевную, такую дремучую, что рядом порой с малограмотными предками чувствуешь себя позабытым осколком далёкой, некогда существовавшей и не знавшей ещё письменности цивилизации.

Вот и я рванул к деду, к своей сибирской реке напрямки, через муки душевные и невзгоды баламутные, мимо нескольких навязчивых друзей и подруг, в один весенний день, перемешивая грязь со снегом и вороша в голове нескладные мелодии собственных мелодрам.

На автовокзале уже вступило в голову: деду-то нужно что-нибудь привезти в подарок.

Сложная миссия.

Смотрю, торгуют фруктами на улице: развалы апельсинов, яблок и красивейшие ананасы. Дай, думаю, деда заморским косматым гостинцем угощу, у них там в деревушке такого изобилия нет, да и не купит себе старик подобного угощения.

Нагрузился увесистыми плодами и, намаявшись по дорогам, добрался до знакомого дома. Дед был, конечно, рад, искрился, себе места не находил, чем бы только угостить да приглубить внука. Дары мои принял с душой, отложил в сторону и угощал немудрёными и такими родными деревенскими и таёжными угощениями. Баньку, конечно, соорудили, а после баньки разговелись до полного телесного мироотрешения.

На день третий, начиная здороветь душой и уже ясными, отстранёнными от собственных проблем глазами глядя на мир, я вспомнил о своём гостинце и озадачился. Нигде он был не отмечен, да и дед ни слова о подарке не сказал. Может, заморский фрукт деду совсем не понравился?

Побродив вдоль реки, зайдя в сельмаг, возвращаюсь домой и, уже обдумывая план своего возвращения в город, вхожу в избу, деда не нахожу, а войдя в дальнюю комнату, слышу как бы приглушённое и недовольное ворчание старика. Заглядываю за угол печи и вижу картину. Дед, сидя, как всадник, на длинной лавке и выложив на неё пару полученных в подарок ананасов, держит один из них за косу и отчаянно пытается шелушить, обдирая подобно кедровой шишке и, видимо, выскивая в ананасе орешки. Конечно, у деда получалось плохо обдирать фрукт, а орешек он не находил и, видимо, ругая прожорливую заморскую кедровку, отставлял ананас в сторону.

О Господи, я ведь даже и не подумал, что мой дедушка не только не пробовал, он и не видел в жизни ананаса! Меня старик спросить постеснялся о том, как же кушают подаренный заморский фрукт.

Ругая себя, и стараясь не шуметь, я тихо удалился. Учить деда кушать ананасы я не мог—не хотелось вновь смущать и омрачать наше с ним очередное расставание.

Так и уехал назад в полный недоумении в отношении собственной неуклюжести.

## Тревожный «сон»

Фёдор, прирабатывающий при золоторудном руднике плотником, оказался не у дел.

Мужика сократили при уплотнении штатов, а в штольню, где всегда нужны живые души, идти Федя и сам зарёкся. Гибельное это дело—ползать в темени по мокрому плачущему подземелью подобно крысе, выгадывая каждый раз, с опаской глядя на нависающую неровную кровлю: завалит—не завалит?

А ещё сказывали мужики, что случались порой страшные горные удары, когда болотный

газ вырывался из горных пород и сносил всё на своём пути, закручивая рельсы в причудливые калачи, швыряя вагонетки по штольне, как теннисные мячики. Бывало, что заваливало после таких ударов горняков так, что докопаться до них не удавалось. Так и лежат поныне под стылой мёртвой скалой, которую пронизывают золотиносные жилы, как стрелы возмездия, сгинувшие горняки, раздавленные скалой или задохнувшиеся в муках.

А потому по ночам бродят по дорогам окрест глубоко за полночь неприкаянные, неприбранные души шахтёров в поисках вечного покоя под сенью вековых сосен и кедров на местном погосте.

Наказывали мамки деткам не ходить в сторону кладбища затемно во избежание роковых встреч. Опять же сказывали, что однажды девица, на выданье уже, шла ночью домой от подружки, да решила срезать путь. Тропка вела вдоль дороги на кладбище, и встретила девица в ночи полупрозрачную фигуру, бредущую мучительно и судорожно — словно против ветра. В бредущем бестелесном страннике признала своего батьку, что сгинул в шахте года за два до этого. Перепугалась так, что домой пришла девица под утро без языка — отнялся нарочь: мычит, глаза пучит, а сказать ничего не может. Потом вроде как оклемалась, говорить стала, заикаясь, но только как вспомнит тут встречу с погибшим в штольне родителем, начинала колотиться да закатывать глаза. Замуж так ведь и не вышла — обходили стороной женихи внешне ладную, в общем-то, девицу. Та так и высохла от горечи да померла, сказывают, раненько.

Федя, в общем, не грустил по поводу потерянной работы.

Во дворе у него было всё ладно: живность всякая, хрюкающая да кудахчущая, и огород справный, так что и картошка на столе с салыцем весь год не выводилась. А таёжные угодыя потчевали тех, кто не ленив, ягодою да грибами. Так что и под чаёк, да и под водочку всегда было чем побаловаться в стылые дни зимнего безвременья, под бесконечным, казалось, на всю Вселенную, покрывалом снега.

А ещё вспомнил Фёдор свояка Ивана, что служил в леспромхозе и, было дело, зазывал его войти в охотничью артель, что была пушного зверя. — Давай, Федя, к нам! Вольный выпас, а на вылопе хорошие выходят деньгата! — расхваливал свояк ремесло охотника. — Изба есть на стремнине у реки. Места проверенные! Там ходит соболь тропую к реке, да норка мышкует. Дело верное! — продолжал уговаривать его охотовед, пропустив вторую-третью крепкого самогона, завалившись вечерком незванным гостем на огонёк к Фёдору.

Тут и жена, Маруся, стала подпевать свояку: — А чё, Федя, мож, и правду говорит Иван? Пойди к охотникам. Сказывают, мужики по весне шибко

хорошо нынче заработали. Маринке, что с магазинка, муж, сказывали, шубу справил.

Федя всё отмалчивался, хотя дело охотничье он знал. А как иначе: всю жизнь в тайге прожить да не уметь зверя выследить да добыть? Дело не столь сложным было, хотя навыков требовало. А бить по цели Фёдор умел: и рука не тряслась и глаз ещё был острым.

Было дело, добывал и кабаргу, и зайца, а уж глухарей сколько в молодые годы настрелял, так не счесть. Как начнёт токовать яркий увесистый красавец, подходи и бери хоть голыми руками.

Однажды и вовсе ходил по лесу, бродил, а потом встал под ёлкой покрутить головой, оглядеться, так незамеченный глухарь, зараза, на него с ветки бросился и давай теревить за макушку. Шапку с Фёдора содрал — и ну бить в темя своим увесистым клювом. Всего, нехристь, оцарапал да обгадил. Едва отбил, отмахиваясь ружьём. Глухаря, наконец освободившись, не тронул. Тот сидел, свирепый после схватки, на пеньке и ругался, тараща глаза и пощёлкивая клювом. Посмеялся, утёрся да и пошёл дальше.

Фёдор, намаявшись уже без дела, согласился и на другой день по реке на лодке добрался до заимки, где разместился в ветхом домишке, который следовало прибрать к зиме.

Руки дело знали, дело спорилось, и скоро зимовье приобрело вполне жилое состояние.

Пришла зима, заголубели дали.

Взяв в аренду у оховеда добрую лайку Елизаветку, весёлую выученную охотницу, светло-палевого окраса, с замечательным хвостом-калачом, отправился Фёдор по реке на лыжах к заимке, благо, что основной груз ещё по осени завезли на лодке.

Лизка носилась окрест, оглашая лес от собачьего восторга звонким лаем при виде какой-либо живности.

Но куда стрелять было не с руки, и Елизаветка, облаяв белку на макушке кедра, прибежала вся в снегу, намёрзших на морде, груди и животе ледышках и, высунув язык, задорно и укоризненно поглядывала на охотника. В поведении лайки читалось: «Что ж ты не стреляешь, ирод ты треклятый?! Бьюсь, бьюсь, снег разгребаю пузом, а ты не чешешься!»

Пришли на заимку, и начались охотничьи будни. Петли, ловушки, приманки, отслеживание зверя по следу. Дела пошли неплохо. Лизавета сноровисто отработывала свой хлеб, загоняя на дерево то белку, то соболя.

В один из дней, ещё до больших холодов, возвращаясь с обхода установленных петель и капканов вдоль реки, Фёдор увидел барахтающегося в воде реки, на самой ещё не покрытой льдом быстрине, волка. По следам было видно, что серый

пересекал реку вдоль промоины, и тонкий лёд у края не выдержал и проломился. Теперь волк безнадежно пытался выбраться, но тонкий лёд ломался, и зверь снова и снова оказывался в воде, теряя силы. А вода на стремнине уходила под лёд, увлекая и волка— тот боролся из последних сил.

Фёдор скинул лыжи и, распластавшись на них, по льду стал скользить к промоине, страшно рискуя оказаться в воде— лёд был ещё крайне ненадёжным.

Оказавшись у края промоины, Фёдор увидел глаза волка: глаза смертельно уставшего зверя смотрели пристально, и в них были и испуг, и мольба, и звериная неукротимость духа. Фёдор ухватил волка за холку и потянул к себе, стараясь вытащить его на лёд. Зверь, уже несколько выбравшись на лёд, прихватил зубами вторую руку Фёдора, но ровно настолько, чтобы показать свою силу и решимость биться до конца. Фёдор, собрав все силы, рванул зверя и вытащил, наконец, на лёд. Волк тут же отпустил руку человека, встал неуверенно на лапы и, покачиваясь, потрусил к кустам на берегу. Вода не успевала ручьями стекать со зверя— замерзала, образуя ледяной покров, и только отдельные капли падали в снег и замерзали тёмными на фоне снега каплями.

Поднявшись со льда на берег, волк замер, повернул свою большую уловатую голову, а осмотрев долгим тяжёлым взглядом своего спасителя, потрусил, косолапя, дальше и вскоре скрылся в чаще леса.

Фёдор вернулся в домик, а утром, услышав, как занервничала Лизавета, вышел глянуть на причину такого нервного поведения и, выйдя на крылечко, увидел своего вчерашнего серого знакомца. Волк стоял поодаль на пригорке и смотрел на Фёдора, а на тропе, почти у самого крыльца дома, лежала застывшая на морозе тушка зайца.

— Вот так! — подивился Фёдор и поднял добычу, как следовало понимать, принесённую волком в знак благодарности.

Дни тянулись чередой однообразных коротких дней и длинных, тягучих, мучительных своей космической пустотой ночей.

Ночи выматывали едкими снами и видениями. Порой ночь сливалась с днём, когда за порогом вьюжило и мело, сыпал хлопьями снег и небо равнялось с засыпанной снегом землёй практически без перехода воздушной стихии в снежную.

Казалось, летит его избёнка между небом и землёй, достигая космических высот и космической пустоты.

В такие ночи и дни, когда охота вставала, как встаёт парусник на прикол в штиль посреди океана, казалось, что время остановилось и ждать уже— напрасно время тратить.

Сны приходили и уходили, менялся их сюжет, а порой уже было непонятно, то ли это был сон, то ли реальность, перекрученная вихрями снегопада.

Но вот что изменилось в сюжете видений.

Во сне с некоторых пор к Фёдору стали приходить два странных неказистых дядьки.

Один— огромный, в треухе на всклокоченной голове, с вытянутым лицом и удивлёнными и более ничего не выражающими глазами. Второй был низкорослым, глаза его косили и выдавали азиатчину, что подтверждалось жиденькой бородкой и желтоватым цветом худого лица.

Они аккуратно стучали в оконце, а потом как-то сразу заходили к нему в дом, а Фёдор замечал их уже за столом, таких добротнo распоясавшихся, казалось, несколько хмельных и радушных. Гости сидели поначалу молча, и он им подавал чай и сухари, а мужики сопели, отдувались и пили густой наваристый чай с травами, одобрительно поглядывая на хозяина. Потом кто-то из них что-то говорил, и его голос звучал как гул в печной трубе, если открыть затворку на всю катушку и тяга становилась чрезмерной. Понять слов было нельзя, но смысл легко угадывался и чётко отражался в сознании: «Ну что? Сколько добыл ноне? Соболёнка взял, это мы отметили. Долго ли планируешь в зимовье пробыть?»

Вопросы задавались простые, такие задают, если просто хотят поддержать беседу и общению придать импульс. Отвечать на такие вопросы приходилось односложно, кивком или взмахом руки.

В какой-то момент, погудев, гости вставали и уходили, а однажды, когда в очередной раз Фёдор встал проводить ночных визитёров, один из них, этакий верзила в смешной нескладной шапке и при бородёнке, что топорщилась, скрывая выражение на губах, сунул ему в руку что-то увесистое и холодное. Фёдор машинально положил вещицу, которую даже не рассмотрел, в свой старый рюкзак, что висел на стене у двери.

Этот сон был навязчив, но в нём ничего не было странного до тех пор, пока Фёдор не отметил, что, как будто убрав с вечера со стола посуду, поутру на столе тем не менее находил три алюминиевых кружки, часто с недопитым чаем, а ещё крошки от сухарей и рассыпанный сахар, а на лавке вдруг обнаружил ранее не отмеченную в зимовье рукавицу из овчины.

Фёдор стал тщательно следить, чтобы на столе не оставалось посуды, но отмечал поутру снова, что, если ночью посетил его этот странный сон, на столе стояли обязательно три кружки с недопитым чаем.

Фёдор, посомневавшись, решил, что, вероятно, к нему и правда приходили гости. Но, выйдя из дома, Фёдор тем не менее не находил на припорошённой за ночь тропе следов своих ночных гостей. Округ дома всё было нетронуто, и только снег, что, переполнив терпение сосновых ветвей, соскальзывал вниз по мохнатым лапам, «портил» невинность снежной поляны.

Но с кем тогда он ночью пил чай?

В душе поселились недоумение и страх как отражение неизвестного.

В голове строились сюжеты тех ночных событий, которые ничем не оканчивались, а отражались короткой головной болью и безграничной печалью.

Фёдор подолгу не мог уснуть, и если сон с гостями не приходил в очередную ночь—он радовался так, как радуется больной, почувствовав поутру вдруг краткое облегчение своего горестно состояния.

Но навязчивый сон упорно возвращался, и снова он заваривал чай и потчевал своих ночных гостей, неведомо как попавших в зимовье.

Измотанный ночными странными видениями, Фёдор решил пойти в посёлок и отдохнуть, ибо сил уже не было терпеть этакое раздвоения реальности и ночных видений.

Собрав шкурки, ружьё, дав команду Елизаветке, Фёдор отправился поутру по реке вниз к посёлку. Отойдя с километр от дома, на крутом повороте реки у скалистого берега, Фёдор отчётливо увидел на самой верхотуре скал две человеческие фигуры и узнал в них своих ночных гостей. Один из них был велик ростом, а второй помельче. Оба мирно махали ему на прощание руками, но лиц было не разглядеть.

Фёдор рванулся что было сил к посёлку и, выбиваясь из сил, к вечеру был дома.

Поутру, отоспавшись, Фёдор отправился в лес-промхоз и удивил своим появлением заведующего. — Ты чё это в самый разгар охоты пришёл? Что-то случилось?— был задан заведующим вполне логичный вопрос.

Фёдор подробно изложил историю своего возвращения, ожидая, что ему не поверят и поднимут на смех.

Но подошедший во время разговора охотовед вдруг рассказал, что годков пять назад в этих местах пропали два промысловика. Искали их, но не нашли, и они до сих пор числятся пропавшими.

— А как выглядели эти двое?— спросил охотовед Фёдора.

— Один такой чернявый, невысокого роста, похоже, из местных— тунгус, а второй рыжий, высокий и худой, в смешной такой шапке.

— Так и есть! Это точно они! Я их лично знал и как раз отправлял в тот год на охоту,— был ответ охотоведа.

— Но они же бестелесные, не живые! Следов не оставляют на снегу!— воскликнул Фёдор.

Охотовед и заведующий пожали плечами: — Бывает. И не такое видывали, — и, как-то поспучив, отправились по своим местам.

Федя в раздумьях, в предчувствии каких-то свершений и не понимая истоков и их конечной цели, брёл по посёлку к дому.

В доме, закурив папироску, Фёдор задумался над всем, что с ним произошло. И вдруг Фёдора торкнуло: он вспомнил об увесистом подарке одного из его ночных посетителей, что наведывались к нему в заимку.

Фёдор кинулся искать рюкзак и в боковом кармане нашёл увесистый самородок, формой очень напоминающий рыжую осу со сложенными крыльями— даже лапки, поджатые лапки насекомого были на месте. Казалось, вот посади на ладонь— зажужжит и полетит оса, оттолкнувшись мохнатыми лапками и рассекая воздух крыльями.

Фёдор подул на самородок, потёр его о лацкан куртки.

Кусочек золота засиял огнём, и в нём вдруг отразилось видение: заснеженный лес, косопалый волк, бегущий вдоль опушки леса, и два мужика на скале, машущие ему приветливо рукой.

Фёдор улыбнулся.

На душе стало спокойно и отчего-то радостно. Он вспомнил вдруг, как волк сдавил ему руку своими острыми клыками и одарил зайцем.

Жизнь— она такая забавная, подумал Фёдор и усмехнулся.

В окно деликатно постучали...